

Максим Горький

Последний день



Максим Горький
Последний день

«Public Domain»

1912

Горький М.

Последний день / М. Горький — «Public Domain», 1912

«Антон Матвеевич Паморхов всю ночь не спал, чувствуя себя как-то особенно, по-новому плохо, – замирало сердце, от этого большое, дряблое тело, холодея, разваливалось, расплывалось по широкой постели, и хотя давняя ноющая боль в ногах исчезала в эти минуты, но утрата привычного ощущения тоже была неприятна...»

Максим Горький

Последний день

Антон Матвеевич Паморхов всю ночь не спал, чувствуя себя как-то особенно, по-новому плохо, – замирало сердце, от этого большое, дряблое тело, холодея, разваливалось, расплывалось по широкой постели, и хотя давняя ноющая боль в ногах исчезала в эти минуты, но утрата привычного ощущения тоже была неприятна.

Темнота в спальней жутко шевелилась, как туман над болотом, создавала неясные, пухлые фигуры, и Паморхов напряжённо слушал, как червь точит дерево зеркального шкафа, всё ждал, что кто-то позовёт его тихонько:

«Антон...»

Особенно тревожно ожила темнота на рассвете, когда спряталась по углам, открывая понемногу зеркало в двери шкафа, и в зеркале постепенно росло, выяснялось отражение чего-то огромного, – оно ворочалось, взбухая и опадая, дышало со свистом и приглушённо стонало.

Паморхов не скоро понял, что это – он, его тело; а когда понял, то почувствовал себя в небывалом раздвоении с самим собою, как будто он – одно существо, а его тело – другое, неприязненно отделившееся от него, всосавшее из темноты множество тягостных и тревожных ощущений, оно живёт ими, а всё настоящее Паморхова – его весёлые мысли, игривые желания – всё вытеснено из него.

Рядом с ним крепко спала Капитолина, лёжа, как всегда, вниз лицом, крепко окутав голову одеялом и не дыша, точно мёртвая.

На рассвете Паморхову показалось, что в кресле у шкафа сидит рыжий змей-удав, – сидит, изогнувшись вопросительным знаком, неподвижно нацелив в лицо Паморхову большой, тусклый глаз цвета меди.

В этом тягостном раздвоении Паморхов лежал почти до полудня, закрыв глаза, стараясь не двигаться, чтобы окончательно не разорвать себя надвое.

Поздно утром он задремал и не слышал, как ушла женщина; его разбудил дождь, настойчиво стучавший в ставни спальни.

Встал он с тем же ощущением разлада, раздвоения, умылся, надел серый халат с бархатным малиновым воротником и такими же обшлагами, долго удивлённым взглядом выпученных глаз рассматривал в зеркало небритое, сизое, плюшевое лицо, смотрел, ни о чём не думая, и всё взбивал рукой густую шапку сивых, вихрастых волос.

– Бодрись, Антон! – неожиданно для себя сказал он и жалобно усмехнулся.

Потом, неохотно выпив чашку кофе в столовой, он прошёл в пустоватый, холодный зал, тяжело передвигая непослушные ноги в меховых туфлях, засунув большие пальцы за шнур-пояс. Идя, он запел, сипло и фальшиво:

В час, когда но-о...

Пел и думал:

«Не надо ничего показывать ей... Написать сестре...» Остановился, задохнувшись, – лёгкие точно водой были налиты. Он кашлял, встряхивая тяжёлой головой, лицо посинело, цвет шеи стал одинаков с воротником халата, глаза выкатились из орбит стеклянными шариками, толстая нижняя губа отвисла, обнажив распатанные кабаньи зубы. Но, прокашлявшись и отдохнув, он снова запел:

Тихо ля-я...

Остановился и сказал, заглядывая в дверь сумрачной гостиной:

– Три ноты осталось, слышишь?

Негромко и точно сквозь сон Капитолина ответила:

– Слышу.

Тихо. Паморхов, стоя среди зала, озирается, сморщив лицо. Вдоль стен чинно стоят стулья с выгнутыми ножками и спинками в форме лир, в простенках – два зеркала, в тускло-золотых рамах, точно болевшие оспой; на одном подзеркальнике бронзовые неуклюжие часы под стеклянным колпаком, их синий маятник неподвижен; на другом – фарфоровая дама жалобно показывает уродливо маленькую ножку. Налево у стены оскалилось пианино, в углу безобразно развесил тёмные листья и серые воздушные корни огромный, до потолка филодендрон.

– Н-да, – сказал Паморхов, повернувшись спиной к зеркалу и глядя в чёрную дыру камина. – Вещи...

В час, когда-а...

На камине лоснится, точно маслом смазанное, киштымское чугунное литье: бедуины верхом на тонконогих лошадях размахивают длинными ружьями. Чёрные квадратики фотографий и гравюр на стене – точно окна, прорубленные во тьму. По обеим сторонам камина стоят фикусы, нищенски бедные листьями.

– Р-ра, – рычит Паморхов, снова передвигаясь к окнам, – рамы зимние пор-ра вставлять...

Небо туго обтянуто сердитой, одноцветно сизой тучей, земля – полиняла, зелены и ярки только сосны, чисто вымытые осенними дождями, да – чуждо всему – качаются красные гроздья рябины на голых ветвях. Кроны сосен и ветви рябин высунулись в небо из-за бурой, похожей на крышку гроба, крыши земского барака для заразных детей.

Дом Паморхова на угорье, из окон виден почти весь город Дрёмов – тёмные домики сползают к реке Пьяной, сталкивая под гору две церкви, когда-то белые, теперь облупленные и точно избитые. Реки не видно за крышами, видны луга и поля за рекою; скучно чередуются чёрные и рыжие полосы пашен, торчат деревья, точно нарисованные неумелой рукой ребёнка. Галки и вороны чёрными шарами повисли на чёрных ветвях.

По сырым пашням мнутя коровы, ходят маленькие, игрушечные лошади, а людей – нет, только по тёмной ленте дороги маячит кто-то одинокий. Идёт он быстро и, словно измеряя землю, машет палкой, закидывая её вперёд.

– Что ж? – обиженно бормочет Паморхов, мигая и хмурясь. – Все умрут...

Вся земля как будто напитана обидой, тоскует, готовая каждую минуту завывать, застонать, облиться слезами, как женщина. Этот одинокий человек на дороге тоже убегает от обиды, сказав кому-то:

– Ну, бог с тобой, коли я плох – я уйду...

Паморхов, мигая, следил за ним и соображал: этим ходом часа через полтора он придёт в Тычки, часам к восьми – в Храпово, а к полуночи – на станцию Лисий Гон. Если в четыре часа утра сесть в товаро-пассажирский и ехать налево – завтра будешь в Арзамасе, а там, через Нижний, в Москву... Но если и направо ехать, тоже можно попасть в Москву.

– Дурак! – громко сказал Паморхов вслед человеку и, отхаркнув, спросил:

– Капочка, сколько времени?

– Два, без... семи. Вы, кажется, на пол плюнули?

– В цветок. Скажи, чтобы затопили камин. Ты что читаешь?

– Тушар-Ляфос, «Летопись круглого окна».

– Не знаю...

Он стоит в двери гостиной, держась за косяк, и смотрит: комната, обитая серовато-голубым сукном, тесно заставлена мягкой, пузатой мебелью с высокими, вспухшими сиденьями. Под окном на изогнутой кушетке лежит Капитолина Викентьевна – она тоже в стиле этой пухлой мебели. Из-под её голубого капота высунулись короткие, круглые ноги в туфлях красного бархата с золотым шитьём; она поставила толстую книгу на грудь себе и, неудобно согнув шею, бегаёт светло-голубыми глазами по страницам мелкой печати в два столбца. Руки по локоть голые, тоже короткие и круглые, а головка – маленькая, хотя белокурые волнистые волосы буйно встрёпаны. Лицо у неё розовое и крепкое, точно яблоко анис. Одурающе пахнет духами и теплом женского тела. Паморхов сопит, крутя багровым носом, идёт к женщине, садится в ногах её и говорит, вздыхая:

– Самый интересный писатель всё-таки Александр Дюма...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.